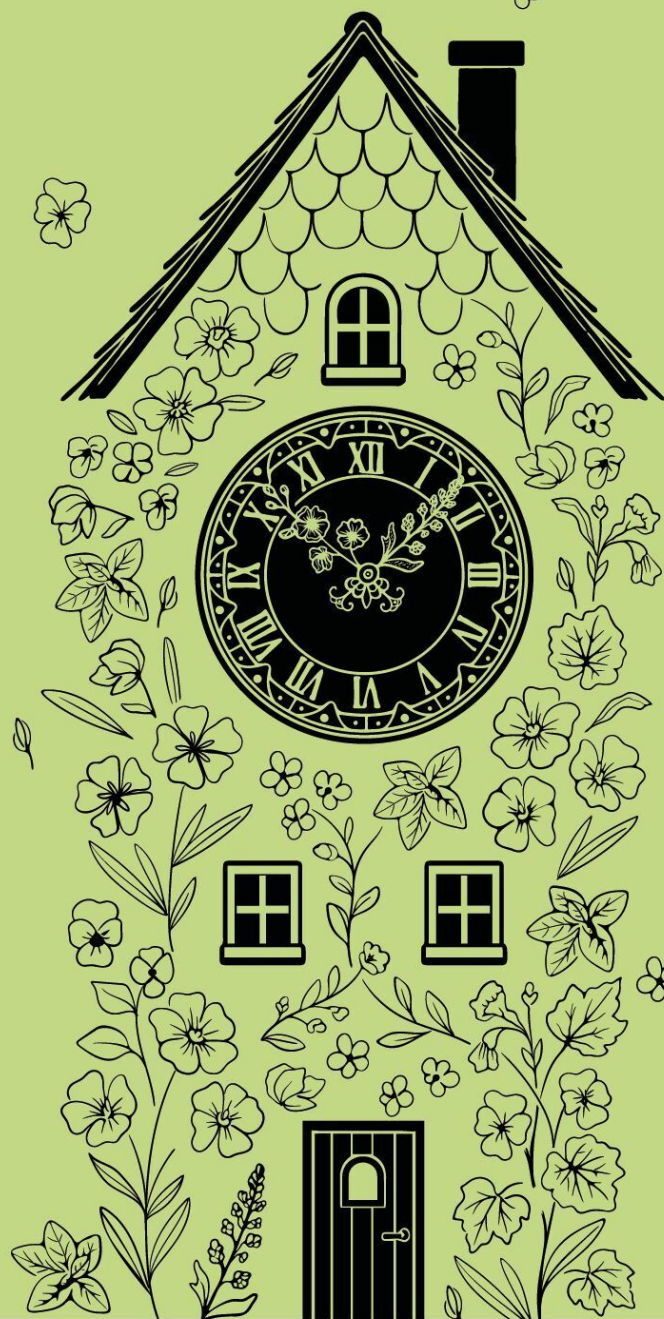


МАРГИТ КАФФКА

# Цвета и годы



Магистраль. Главный тренд

Маргит Каффка

**Цвета и годы**

«ЭКСМО»

1912

УДК 821.511.141-31

ББК 84(4Вен)-44

## **Каффка М.**

Цвета и годы / М. Каффка — «Эксмо», 1912 — (Магистраль.  
Главный тренд)

ISBN 978-5-04-248225-0

Роман «Цвета и годы» – одно из самых тонких и пронзительных произведений венгерской литературы начала XX века, созданное Маргит Каффка. Это исповедальная история женщины, проживающей жизнь не как торжество, а как медленное угасание надежд – и все же не лишенную внутреннего света. Героиня, Магда, оглядывается на пройденный путь: юность, окрашенную мечтами, брак, обещавший опору, и годы, в которых одна за другой растворяются иллюзии. Через ее воспоминания проступает судьба целого поколения женщин, чья жизнь была заключена в строгие рамки общественных ожиданий. Но за внешней покорностью скрывается напряженная внутренняя борьба – тихое сопротивление, боль утрат и редкие, почти незаметные, мгновения подлинной свободы. Каффка создает удивительно живую ткань повествования, где «цвета» – это не только оттенки воспоминаний, но и метафора пережитого, а «годы» – мера неизбежных перемен. Сдержанный, прозрачный стиль романа обнажает глубину чувств, не прибегая к громким словам, и делает эту книгу близкой и современной. «Цвета и годы» – это не просто хроника одной жизни, а тихая, честная исповедь о времени, которое меняет все, кроме самой жажды быть услышанной.

УДК 821.511.141-31

ББК 84(4Вен)-44

ISBN 978-5-04-248225-0

© Каффа М., 1912

© Эксмо, 1912

## Содержание

1	7
2	10
3	13
4	18
Конец ознакомительного фрагмента.	23

# Маргит Каффка

## Цвета и годы

Margit Kaffka

SZÍNEK ÉS ÉVEK

© Россиянов О.К., перевод на русский язык. Наследники, 2026

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2026

# 1

Тишь и покой окружают меня с некоторых пор. Там, вдали, по-прежнему бежит жизнь с ее докуками, спешкой, дележкой, а я, если и гляну на все это, удивляюсь только ребячливому любопытству, с каким эти нынешние ждут, что принесет им день завтрашний или послезавтрашний. И даже помыслить странно, что для молодых все так же ново, интересно, как мне – случившееся тридцать лет назад. На мой взгляд, во всей этой пестрой толчее так много от игры! Как дети: давай поиграем в дочки-матери или в магазин. Пусть это у нас кораблик, а мы будто в бурю плывем. И взрослые ведь тоже вживаются в свои роли, изображают кто рвение и усердие, кто ветренность, страсть или злобу и ненависть. Надо же как-то время провести, убедить себя: дескать, это очень важно. А иначе мы просто сидели бы себе в сторонке сложа руки, что, наверно, и естественно, ибо прочее все – один глубокомысленный самообман.

Плохо ли, хорошо ли, но избранную роль мы уже доигрываем до конца. Хотя и не так, как в пьесах выдуманных, в театре, где все сообразуются с поступками главного действующего лица. В жизни всяк сам себе главное действующее лицо, и никто второстепенных ролей не исполняет – играет только себя и для одного себя. Отсюда множество непредвиденных сюжетных осложнений, которые всех нас безумно занимают, – пока мы в них участвуем. Кто в кого влюбился, кого потерял, как воспитывает детей, чего добивается в этом мире и как его покидает. А отыграл свое, сделал, что мог и что вообще можно сделать в жизни, удаляйся на покой, если тебе еще отпущен годик-другой.

Спешу заверить людей еще молодых: старость, перед которой они содрогаются, зло не столь безусловное и чудовищное, каким оно им представляется. Одно состояние ощущается не острее другого, и человек не может страдать от недостатка того, к чему уже и склонность потерял. При сносном здоровье и старость не в тягость; если руки-ноги еще служат, то и кофейку горячего выпить, в уютной комнате посидеть, поспать всласть тоже куда как приятно, и достаются эти радости не такой уж дорогой ценой – не приходится столько биться за них, страдать, рисковать. Я женщина пожилая, весной минуло пятьдесят, – пожилая и одинокая; но как вспомню, сравню с теперешним моим житьем-бытьем, сколько горя пришлось повидать и как мало истинного счастья... да и оно вспоминается будто во сне. Нет, в худшем положении я себя ничуть не чувствую и надеюсь, что и смерть, когда придет, не покажется слишком уж страшной, хотя пока я и боюсь ее.

Старость ощущается скорее в сопоставлении с миром внешним, посторонним. Постепенно ото всего отходишь, отдаляешься, ничье отношение тебя уже больше не заботит, а прежде ведь, бывало, не очень позволяешь манкировать собой. Комедия там, в большом мире, начинается сызнова – только исполнители и декорации другие. Звонок звенит, и люди идут, а тебе уже неинтересно. Иной раз и хочется сказать: «Да перестаньте! Какая разница, так повернется действие или этак? Развязка все равно одна». Но правота не на нашей стороне. Это же ведь их спектакль. И мы в своем составе играли в общем не лучше.

Нет уже в старости твердых целей и намерений, но не такая еще это беда, как думает молодежь. Она прилагает преклонный возраст к своему душевному состоянию, а нас ведь и жизнь изменяет, не только смерть, – и я теперешняя не берусь отвечать за поступки той особы, которая звалась моим именем двадцать лет назад. Порой вспоминаю о ней совсем как о незнакомке. Вот мечется, разрывается из-за детей, думая, что так будет всегда. Действительно, стариков обычно так или иначе связывают с жизнью дети; да только и тут есть нечто показное, немножко от роли, игры. А на самом деле дети очень далеко уходят от нас, и наш интерес к их судьбе – лишь благое намерение, самообольщение; ничья судьба, никакие перемены в эти годы уже не слишком новы и важны для нас. Быть может, у других бывает чуть иначе, но я оказалась целиком предоставленной себе.

Говорю это, право же, без тени какой-либо жалобы на одиночество или бесцельность своего существования. Так любила людскую суету, так стремилась всегда к чему-то, и вот сижу в тишине своего крохотного, нагретого солнцем садика или поглядываю сквозь жалюзи на улицу в развесистых акациях. Выходить почти не выхожу, и ко мне по неделям глаз никто не кажет. «Не рановато ли, – подумаю иногда, – так уж отрешаться от мира». Но очень я, наверно, устала.

Подолгу могу сидеть так, сложив руки на коленях, – кто бы раньше подумал?.. У этой моей квартирке отдельный выход через садовую калитку на узенькую улочку; по ней хожу я обыкновенно в церковь и с хозяевами, зажиточными пожилыми швабами, вообще могу не встречаться, если не хочу. А помощь понадобится – они всегда рядом, и люди незлые. Вот и выхожу только посидеть на веранде, и тихий благовест доносится до меня сквозь голубоватую вечернюю дымку вместе с теплым ароматом моих старушечьих цветочков с клочка садовой земли. Прямо напротив, у глухой соседской стены раскрыла свои глазки виола, поближе – грядки резеды и гелиотропа, потом шпорник, базилик, сердечник и целозия, вперемешку. У террасы, среди невзрачного портулака, – несколько кустов розовой мальвы и три кадки с олеандрами в цвету. Олеандры – из отростков, которые я отломила еще со старых деревьев; олеандры у нас всегда сажались и разводились. А в доме у меня, в комнатке с кухонькой, – остатки ветхой мебели, разная рухлядь: все от первого моего приданого вот уже тридцатидвухлетней давности. И опять – удивительное дело! Сколько было разбросано, раскидано всего в жизни, а за этот привычный старый хлам, хоть и образумливают дочери, я держусь, – не хочу трогаться из городка, из насиженного угла, который никогда уже не покину. Тут прошла моя жизнь, тут меня всякий знает; никому не требуется объяснять, кто я такая и по какому праву здесь. Люди молодые или приезжие посматривают на меня с любопытством, немногие же из оставшихся старых знакомцев, кто завидовал мне, любил или обижал, – все смягчились понемножку. Вот так смывается, стирается все. Подчас даже радуемся друг другу, столкнувшись у церкви, будто земляки в чужедальнем краю.

Не скажу, что эти несколько лет, прожитые без забот и хлопот, ничего нового мне не принесли. До многого лишь теперь руки дошли. Прежде я читала очень мало и всегда второпях, а сейчас успеваю гораздо больше, легче сосредоточиться в этой тишине. Правда, книжки научные, всякие новомодные сочинения дочери шлют напрасно; в них особенно много далекого, чуждого мне. Хотя я и понимаю все, но судить по-новому об определенных вещах, об устройстве жизни уже не могу. Зато поэтическую выдумку, хорошие романы и всякое такое я только сейчас полюбила по-настоящему – и научилась отличать серьезные произведения от легковесных. Да и поразмышлять мне раньше за целых три года не удавалось столько, сколько теперь за один.

Да, просто поразмыслить – и вечно об одном: как было и как могло быть. А уж сколько я об этом думаю... в полном смысле переживаю жизнь сначала. Другие предаются грезам в молодости; я же всегда была натурой деятельной и вот теперь восполняю пробел. Как изменчива природа человеческая! Но все же это теперешнее мое свойство, наверно, и прежде подспудно жило, таилось во мне.

Только этим объяснимо, почему от истинно смелых шагов, настоящих решений постоянно удерживала меня какая-то странная робость. Знаю: не раз могла бы я метнуть жребий отважней, совсем изменить свою судьбу... Но нынче уже поздно об этом сожалеть! И без того предовольно выпало на мою долю плохого и хорошего, хватит до самой смерти, над чем мозгами пораскинуть. Возьмусь иной раз перелистывать прошлое, как альбом или книжку с картинками, и придет на ум: неужто это я? Остановлюсь и подумаю: ладно, что было, то было, но еще раз повторять я не стала бы ничего.

Перебирая вот так, опять и опять воскрешая вещи давно прошедшие, порой упускаешь связь между ними; чересчур разветвленная, она нет-нет да и теряет отчетливость перед мысленным взором. Сколько причин у всего; ища единственную, я не убеждена, всегда ли нахожу

верную, главную, и уж понятия не имею, права ли в мелочах, – может, просто представляла себе и пересказывала так, пока сама не уверовала. Это как в горах (знаю по рассказам): отошел на несколько шагов – и совершенно меняется весь вид, пейзаж, расположение долин и вершин. На каждом привале совсем другая панорама. Так и с минувшими событиями. Очень может быть, что все принимаемое мной сейчас за историю моей жизни – только образ ее, сложенный по моему сегодняшнему разумению. Но тем более, значит, он *мой*, и не придумать игрушки занятнее, бесценнее и многоцветнее. Чтобы играть в нее этими теплыми, одинокими, тихозвонными вечерами.

## 2

Цветы эти росли и в саду старого Зимановского дома, где я провела детство: те же мальва да просвирняк, резеда, базилик, сердечник и башмачки. Только сад был большой, занимал все земельное владение Зиманов в городе, некогда огромное, до самой улицы Хетшаштолл и Хайдудароша. Лишь позже, после того как обстроилась улица Меде, наша «гроси»<sup>1</sup> – бабушка Зимам – продала из него за хорошие деньги два-три участка под дома. Но и когда мы там играли, можно еще было далеко убежать от хлевов и старой развалившейся сушильни в зарослях бузины до «скамейки в тенечке» на заброшенном пчельнике за огородом. Как просторны, как щедро вместительны эти сады детства! Прошлый год, когда снесли окончательно старый дом (теперь на его месте новая паровая баня), проходила я мимо и заглянула за забор. Участок показался мне гораздо меньше: обыкновенный неказистый пустырь.

Втроем с двумя младшими братишками носились мы там чуть не с младенческих лет, после смерти отца, резвясь, буяня и хозяйничая, – настоящими дикарями, без ухода и надзора, и, по-моему, были счастливы. Жаль, что память так мало сохраняет из богатой сокровищницы детства – отдельные случаи, мелкие эпизоды, да и те в измененном виде: в каком позже думалось или упоминалось изредка о них. Ныне, зная дальнейшую нашу судьбу, припоминаю, что Шандорка был помягче, позадумчивей брата: кроткий, похожий на девочку мальчик.

С Шандором придумывали мы игры совсем фантастические, странные, – играли и потом как бы продолжали жить в этом своем несуществующем, выдуманном мире. Уговорились, будто обитаем под землей, в таинственных, освещенных лиловыми и синими фонарями полутемных ходах и переходах. Я была королевой Вульпавергой, он – королем Ромбертаро. А здесь, на поверхности, ходим якобы переодетые и к гроси нашей в дом попали совершенно случайно, ведь у нас заботы поважнее: он ухаживает за корнями цветов и деревьев и велит, когда выпадет дождю, когда снегу; у меня же хлопот полон рот с целым роем малюток-фей, лентяек и недотрог, которые обязательно забудут развернуть в срок бутонь, надуть их, вымыть к утру листочки – и всякое неряшество творят. Кажется, из какой-то немецкой книжки с картинками подхватили мы поначалу эти глупости, но после до того вжились в них, часами изъясняясь речами Вульпаверги-Ромбертаро и такими мельчайшими подробностями уснащая свой сказочный мирок, что под конец уже становилось душно в нем, невмоготу. «Давай будем опять Шандор и Магда!» – предлагала я нетерпеливо, но он оставался глух к моим уговорам, с трудом покидая царство миража и все именуя меня «ваше величество». Еле удавалось отвязаться от него.

Тут я вступала в сообщничество с Чабой и целыми днями нарочно дразнила, донимала презрением бедного короля Ромбертаро, хотя нашей с ним тайны никогда не выдавала. Знала, что опять к нему вернуться, а это – только передохнуть и освежиться. Какие Чаба «кунштюки» выделывал на пчельнике, на приставленных к навесу лесенках! Мы играли с ним в акробатов, воспроизводя, что успели подсмотреть у входа в ярмарочный балаганчик, из-за будки, где продавались билеты. Он меня и из рогатки учил стрелять по воробьям или тайком перелезал со мной через стену в проулок Хайду, между садом и комитатской<sup>2</sup> ратушей. Старинная крепостная стена в этом месте уступом подходила к нашей, которая даже сложена была совершенно одинаково. Тот же, наверно, каменщик клал при каком-нибудь Зимане-губернаторе.

Прямо напротив, под сводом была дверь, а за ней – узкая, пахнувшая плесенью галерейка; она шла вдоль арестантской, упираясь в каморку тюремщика. Жену его мы знали, она приторговывала на базаре и у нас подле виноградника обирала с деревьев вишню, абрикосы. На эту

<sup>1</sup> Гроси – бабушка (уменьшительное от нем. *Grossmutter*). – Здесь и далее примечания переводчика.

<sup>2</sup> Комитат – область, губерния в старой Венгрии.

галерею выходили низенькие, зарешеченные окошки, и мы, бывало, промчимся вдоль них – туда и сразу обратно, едва замутнеет в каком-нибудь серая тень в длинном тюремном балахоне с пугающе бледным лицом. Сердце у меня колотилось отчаянно, боялась я ужасно, но отказаться от искушения не могла. Как-то прослышали мы, что туда посажен разбойник, Герге Олах, и его должны повесить. Играл с нами еще Пали Каллош, соседский мальчик, и, помню, это я подзадорила их: пошли поглядим на Герге Олаха. Смеркалось уже, в проулке не было ни души. Но от страха ноги у меня вдруг подкосились, и, прислонясь к каменной стене, я только мальчиков все посылала вперед: «Ну же, ну! Вон, третье окно». Решившись, они на цыпочках нырнули в полутьму, и зловещие косые тени меж окошек поглотили их. На минуту почудилось, будто два неестественно огромных, бесплотных привидения беззвучно скользят там, по этой бесконечной галерее, – и тишина, тишина... Вот исчезли, растворились под самым карнизом, в невероятной дали и высоте. Я взвизгнула, сама не своя, и без чувств повалилась на каменный порог, но еще слышала топот убегающих мальчишек: из одного окна кто-то ругнулся на них. Потом вышла надзирательница, подняла меня. Дома из-за всего этого разразился ужасающий скандал, и мы час простояли на коленках на кукурузе в комнате у гриси... Было мне тогда лет десять. И всю жизнь потом преследовала меня во сне эта длинная, полутемная галерея такая же зловеще враждебная, хотя после, в солнечные дни, – и взрослой – я, бывало, равнодушно проходила мимо. Теперь этой арестантской в помине нет; на ее месте, во вновь отстроенном крыле, помещается вполне современная тюрьма.

Обучал нас до той поры домашний учитель; но тут мама моя, Клари, отдала меня в школу Жофи Вагнер. Было это жалкое провинциальное заведение, которое содержала одна осевшая в нашем городке немка, бывшая гувернантка, а две ее взрослые дочери там преподавали. Раз в неделю приходил еще священник-пиарист<sup>3</sup> – с пятого на десятое что-то объяснял. Подвесил, помнится, на веревочке оловянную пуговицу: это, дескать, маятник. Но что там было с этим маятником и все прочее не очень помню. Дочери посмеиваются над моим невежеством, и правда: систематичности было маловато. Обо всех этих вещах узнавала я лишь урывками позже, со слов или из газет.

Плата за ученье в школе Жофи Вагнер была одинакова для бедных и богатых; разница сводилась к тому, что маленькие «буржуазки», дочки ремесленников и лавочников, величали ее *gnädige Frau*<sup>4</sup>, мы же называли просто «танте»<sup>5</sup>. Немецкий язык был обязателен, и «танте» сурово выговаривала погрешившим против этого требования. «Но если мы не знаем, как сказать», – оправдывались сапожниковы дочери с венгерских улиц. «Тогда спросить надо». – «Но как спросить?» – «*Wie sagt man das deutsch*<sup>6</sup>, вот как». В результате мы до того привыкли совать и вставлять где ни попадя этот вопрос, что целые истории наладились рассказывать друг дружке таким приблизительно образом: «И тут он, визактмандасдойч, как врежет ему...» Было, впрочем, хоть готовое оправдание, если родителям сообщалось о плохих успехах в языке венгерском. Одни только девочки-швабки, дочери нескольких крестьян позажиточней, свободно болтали на своем неблагозвучном, протяжно-медлительном наречии. По счастью, кое у кого немецкий был в заводе и дома, – как и обычай брать прислугу из Сепешшега<sup>7</sup>. Сейчас я много читаю по-немецки.

Заботилась танте Софи и о нашем воспитании. Одно время мы крепко подружились с Мариш Надь, чей отец был канатчиком. Тогда учительница пригласила меня к себе и объяснила: дружбу эту надо бросить, она заранее обречена, – барышне Портельки все равно придется

<sup>3</sup> Пиаристы – монашеский орден.

<sup>4</sup> Госпожа, сударыня (*нем.*).

<sup>5</sup> Танте – тетя (от *нем.* Tante).

<sup>6</sup> Как это сказать по-немецки? (*нем.*)

<sup>7</sup> Сепешшег – местность в тогдашней Венгрии с немецкоязычным населением.

порвать ее, вступив в самостоятельную жизнь, так лучше это сделать раньше, иначе слезы да обиды пойдут. Всякий в наши дни осудит подобные понятия, но по тем временам была она, пожалуй, не так уж и неправа. Женщина неглупая, она прекрасно разбиралась, кто какое место занимает в обществе. Мама наша, Клари, не раз вывозила ее дочек на балы, как и другие заинтересованные дамы, и танте Софи почитала себя очень им обязанной.

Тем временем и братья поступили в пиаристскую гимназию, но дома, в саду за хлевами, вольная наша детская жизнь продолжалась пока беспрепятственно. Постоянно я была среди мальчишек, с братьями и соседским сыном, а в куклы играть не очень любила. Сошью им разве что большущие шикарные шляпы, модные бальные платья вроде маминых, которые она тогда выписывала из Вены, наряжу – и опять к мальчишкам.

И еще один вечер, позже, тоже очень живо встает у меня в памяти.

## 3

Спали мы еще все втроем в давнишней стройки садовом домике с кухней, – в уютной старой комнате, где все напоминало о старине, о днях бабушкиной молодости. Флигелю этому, по общему уверению, было лет триста: приземистый, толстостенный, с глубоко посаженными, прихмуренными оконцами и громадными, потемневшими от времени сосновыми балками в алькове под потолком. Слева дверь вела на кухню, а в сенях тоже был старинный очаг с дымницей над ним.

Как отчетливо видится мне эта комната! Сюда из верхних, смотревших на улицу покоев сносилось все, отслужившее свой срок. Стояла здесь застекленная бабушкина горка с тюлевыми котильонными бантами, наклеенными изнутри: память о славных балах стародавних времен. Висели розовые пастели в тусклых золотых рамках и гардины из ветхого алого бродата, украшавшие гостиную еще в деревенском барском доме. Кровати у нас были огромные, с массивными спинками, в которых принимались вдруг тикать жуки-точильщики, между ними – пузатые шкафики с врезанным в ящики медным узором. Невероятной махиной громоздился дубовый стол на крестовидных ножках; его мы с места стронуть не могли. Он считался самым старинным предметом в семье.

Уже тогда все это будило мое воображение, и я, замечтавшись, силилась представить себе, сколько ушедших в вечность женщин касалось этих порыжевших от времени бархатных покрывал; кто сиживал на затейливо изукрашенных стульях и вытертой, продавленной оттоманке?.. Комната испокон века отводилась у Зиманов под детскую, и лет двадцать назад наша мама, Клари, сама спала здесь с братьями и сестрами, сама шалила и тоже голыми коленками стояла на жестких кукурузных зернах, когда, играя в доктора, вар прилепила под косы младшей, Марике: видела, как гроси пиявки ставит больным крестьянам. Ах, эти старые вещи, воспоминания, предания! Как они спаивают, скрепляют семью, – какое глубокое чувство вселяют, что мы только продолжаем жизни, протекшие до нас... Какую внушает все это уверенность: смотри на старших да следуй их советам; они сумели прожить – и ты проживешь! И снова приходят на мысль три моих дочери. Они-то далеки теперь ото всего этого; как-то очень уж быстро переменялась вокруг вся жизнь.

«А маму охватывала в четырнадцать лет такая вот непонятная, невесть откуда взявшаяся тревога? – задавалась я вопросом. – А гроси, эта суровая, почтенная старая дама, – она тоже краснела до ушей от странной какой-нибудь мысли, самой себя стыдилась в темноте?» Облокотившись о подушки, наклонившись вперед, сидела я в постели и глядела, как месяц голубоватым сиянием заливал погруженную в сон комнату. За садом, на углу ночной сторож как раз подал свой певучий, дрожащий сигнал. Одиннадцать часов.

«Там, наверху, раздаются сейчас звуки фортепиано, чардаш танцуют в большой гостиной, и мама, эта дивная, цветущая женщина, затмевает всех зрелой своей красотой. Да и кто сравнится с ней: тетя Ила? Мои тощие, благодушные двоюродные сестры, старшая и младшая Ревикские? Зато мужчины, ого! Четверо-пятеро молодых людей бывают непременно, каждый вечер, и все вокруг мамы, вокруг мамы, с ней только и разговаривают, жадно ловя каждый ее взгляд, ей предназначая каждое свое движение. А она как со всеми мила, как идет ей эта обычная ее непринужденная и естественная простота. Еще бы, до сих пор славится своей красотой. Интересно, а Сечи там сегодня, в которого она влюблена? Который таким небрежно-примирительным, снисходительным жестом, с привычной, хищно-вороватой уверенностью касается ее руки над роялем или столиком с альбомами (я подсмотрела однажды)? Присядет ли она с ним в сторонку, на краешек дивана, и, понижая голос до жаркого, страстно взволнованного шепота, выговаривать будет ему за что-то в гневно-нетерпеливой своей любви?.. У них, у взрослых, своя, настоящая жизнь, которую они от нас скрывают; у них любовь – самое, наверно, глав-

ное, потому что о ней только и говорят, сразу оживляясь, с завистью или любопытством. А нас, детей, лишают этого, отстраняют от всего», – думала я со строптивым негодованием и тут же, безо всякого перехода, – о шоколадном торте с сахарной пудрой и малиновом мороженом, которым обносят гостей, а нам тоже не дают. Наполовину девушка, наполовину еще ребенок.

– Шандорка, а Шандорка! – поверотысь к противоположной кровати и томясь этим внутренним смятением, желанием поделиться с кем-нибудь, сказала я вдруг. – Спишь?

– Нет! – откликнулся он с неожиданной готовностью.

– Не спится? Отчего?

– Так.

– Ну, не валяй дурака. Говори почему?

– Потому что, когда мы молились вечером, я при словах – «... и сидяща одесную Отца...» устал стоять на коленях и на корточки присел. Боюсь, что молитва моя не будет услышана.

– Вот балда! – внезапно вскипела я неизвестно почему. – Ну можно ли в двенадцать лет быть таким дурачком!

– Не только из-за этого, не только, – боязливо запинаясь, запротестовал брат. – Я... мне... пораньше надо встать утром. Как Жужа за ботинками придет.

– Это зачем?

– Магдушка, не говори только никому! Чаба с Пали Каллошем ворону поймали, она в сарае под корзинкой, глаза ей завтра хотят выколоть. Выпустить ее хочу.

Оторопев, я призадумалась. Чаба невозмутимо похрапывал в своей кровати.

– Ладно, – сказала я чуть погодя. – Я тебя разбуду и помогу, но ты за это на сеновал меня отведешь, в ваш тайник.

– В какой тайник?..

– Ну, ну, не хитри! Знаешь ведь, где ключ спрятан. Там старый футляр стоит от фортепиано, и вы потайную комнату в нем устроили, чтобы девчонок не пускать. Смотри, вот скажу маме, что вы делаете там.

– Я не курил, мне даже трубку не дают.

– Вот и проговорился! Табак, значит, курите. Не отведешь, завтра же маме расскажу.

– Ой-ой, не надо, Магдушка! Лучше отведу.

– Ага, попались! – взревел Чаба с кровожадным торжеством. – Ах, предатель! Плуты, негодяи! Ну, погоди, девчонка! Не стыдно, дура любопытная?

Но я нисколько не испугалась. Копившееся напряжение разом разрядилось: я так и взвилась от ярости.

– Сам бы постыдился, жулик! Тихоня, притвора несчастный! Вот Агнеш Каллош позову, пусть поглядит, как выпорют ее кавалера. Тили-тили тесто, жених и невеста!

– Саму тебя как бы не выпороли, когда узнают, о чем вы там с Пали секретничаете на пчельнике. И как ты ему позволила на кофточке с вырезом еще одну пуговку расстегнуть, тоже расскажу.

– Неправда! Он только показал, где рак был у его тети, которая умерла... Врун! Подлая собака!

– А, захныкала, змея подколодная! – осклабился Чаба победоносно. – Плакса, тьфу.

Я уже не знала, что делаю. Схватила, что под руку попало, – чугунный подсвечник со стола, – и запустила в темноту, тут же пожалев о содеянном, готовая просить прощения. Но рев, дикий, безобразный, меня остановил. Минуты шли, а Чаба не утихал, опять и опять принимаясь реветь, – нарочно, со злорадным упоением. На кухне рядом завозилась служанка, из сада кто-то застучал в дверь.

– Жужи! Открой! Они же поубивают там друг дружку!

Это была мама. Я уже и тому была рада: трепку задаст, и все опять встанет на свое место.

– Вы что тут делаете? Что это с ним? Да он весь в крови!

Я перепугалась насмерть, – хотела было кинуться к брату, расплакаться, расцеловать его, но знала: я преступница, и сжала упрямо губы.

– Подсвечником в меня железным запусти-ила... Плечо сломала, вон, кровь!

– Не реви! Дай-ка посмотреть. Ах, дрянная девчонка! Ну, погоди ты у меня!

– Он первый начал! – воскликнула я, вся дрожа и раздражаясь наконец слезами. – Орал на меня, издевался. Птицу потому что запер в сарае и глаза ей хочет завтра выколоть. И каждый день они там курят, в коробе от фортепьяно.

– Господи боже! Вот негодники! Да вы так дом спалите!

– А она с Пали на пчельнике прячется и кофточку расстегивает вот тут.

– Ах, бессовестная! Не знаю, что и делать с тобой! Ну, постой... Где скалка?

И кинулась к двери, где Жужи подпирала косяк. Но перед ней безмолвно выросла гриси. В руке был у нее ночной фонарик, но корсаж черного шелкового платья застегнут на все пуговицы, и на зачесанных к вискам, не утративших блеска волосах – аккуратная кружевная наколка с бисером. Подняв фонарик, гриси оглядела комнату.

– Ну что я за несчастная! – схватила мать за голову. – Они же тут увечат друг друга. Убить эту мерзавку мало!

И вне себя бросилась опять ко мне. Но гриси, перехватив это движение, усадила ее на стул.

– Господи, – пробормотала мама, беспомощно закрывая руками лицо.

Гриси поставила фонарик к Чабе на кровать. Тот без звука позволил стащить рубашку с плеча.

– Простая царапина, – сказала бабушка спокойно и попросила у Жужи холодной воды. – А могла ведь голову проломить.

Потом подошла к Шандорке, который дрожмя дрожал все это время, корчась и всхлипывая в постели, и тихо, незаметно погладила его по голове.

– Что же мне с ней делать? – горестно, подавленно спросила мама, указывая на меня.

– Оставь ее, – строго ответила гриси, тщательно забинтовывая руку Чабе. Потом с фонариком подошла и посветила мне прямо в искаженное, перекошенное лицо. – Выросла, – задумчиво протянула она и отвернулась. – Девушка уже, – повторила опять немного погодя.

Наказывать меня не стали...

И утешаясь, то погружаясь в беспокойное полузабытье, то опоминаясь опять в воцарившейся мало-помалу тишине, я видела: фонарик все стоит на огромном дубовом столе, и слабый, желтоватый огонек брезжит в темном алькове. И мама с бабушкой все сидят: мама облокотившись, – и ее широкий, в цветах и кружеве батистовый рукав, упав, обнажает бело-розовое, с ямочкой запястье, красивую полную руку со старинной золотой браслеткой-змейкой. Гриси – выпрямившись, словно подперев неподвижным сухощавым телом спинку стула, и коричневая тень стелется за ней, будто на старинной картине, изображающей освещенную лампадой жанровую сценку.

– Тебе ведь, детка, тридцать один! – слышу я ее тихие, но веские слова, как бы в подкрепление предыдущего.

Мама с окаменевшим лицом смотрит и смотрит на огонек.

– Такие шуры-амуры, – продолжает гриси неумолимо, – не кончатся ничем. Я долго надеялась: авось выйдет что-нибудь, но столько тянуть... не хватит ли? Четыре года уже.

– Но, мама, это все-таки мое дело...

– Ладно, ладно, хорошо! Твое дело *было* до сих пор; и я не вмешивалась, Клари. Но сама посуди! Десять лет почти, как вы здесь, а я ни разу не допытывалась ни о чем таком. В покое сначала оставила тебя: поживи и ты в свое удовольствие, коли уж с мужем не заладилось. Совсем ребенком вдовой остаться, да с тремя детьми.

– А кто виноват? – строптиво, зябко передернула мама плечом.

– Предвидеть, Клари, никому не дано. Ты же знаешь: две сестры подрастали за тобой. За первого претендента и выдала. Тебе шестнадцать, мужу тридцать пять, – да, верно; но человек он был здоровый и зарабатывал хорошо. Первый стряпчий в округе, четверых помощников имел. И в Портелеке тогда все дела вел с Абришем вдвоем. Адвокат – чего уж лучше по тем суматошным временам. Кто мог знать наперед, что в этой денежной горячке, в спешке этой ночной к вину пристрастится? Ладно еще воспаление легких прибрало беднягу, а то бы последнее спустил.

Мне хорошо было видно выступавшее из полутьмы алькова освещенное мамино лицо, но гроби не замечала пробегавшей по нему недовольной гримасы.

– Вот так-то, – уже мягче заговорила она. – И краса твоя расцвела, – я и не перечила: поживи, порадуйся. В ту пору и других двух выдала замуж, отец ваш умер, брат твой еще учился. Живите, места не занимать. Ни по дому хлопот, ни с детьми – все я на себя взяла. Я-то выросла сиротой, мне на роду написано самой пробиваться в жизни, трудом хлеб добывать. И не жалуясь, не оплошала. Немногое, что было у нас, удвоила с тех пор, и ничего, прожили, детей честь по чести воспитали.

Мама уже еле сдерживала свое нетерпение.

– Ни во что, Клари, я не вмешивалась, годами целыми. Начнут люди болтать, я тут как тут, сама за стол с гостями твоими усядусь, декорум соблюсти. Про мой дом никто никогда не смел худого сказать. Выбирай, думаю, сама, кто тебе по вкусу. Вот Бойер сначала появился. Долго ты его за нос водила, потом: стар, мол. Вдовец, конечно, но богатейший помещик в комитате. Дальше – Гебеи молодой, и с тем ничего не вышло. С Кенди хороводиться вздумала, с женатым-то человеком; жену, положим, паралич разбил, но жива и посеючас, в кресле возят. А теперь Сечи твой. То ли твой, то ли не твой. Позавчера, говорят, с актеркой какой-то в коляске катался...

– Ах, мало ли что говорят! – раздраженно ударив по столу, перебила мать и выпрямилась, гневно сверкая глазами.

Гроби невозмутимо, почти равнодушно смотрела на нее.

– Ладно, оставим это. Я другое хотела сказать. У меня сын есть, как тебе известно.

Мама Клари повернулась к ней удивленно.

– Видишь ли: Иштван – помощник окружного нотариуса сейчас. Но года через два старик Бельтеки обязательно на пенсию уйдет, и он займет его место. Совсем недурно для такого молодого человека! Так вот. Если Иштван женится, жить они будут здесь.

– Ах, вот что, – отозвалась мама с легким неудовольствием.

– Да. За невесткой нужен мой глаз!

– Значит, правда, мама, что вы эту девчущку Каллош...

– Это не твоя забота!.. Да, Клари, вот еще что. Я вас всех троих выдала как полагается, и с берейской земли задолженность сняла после смерти вашего папы, это ты тоже знаешь. Когда мы ее купили, половина еще была заложена. Вся арендная плата на это ушла. А теперь моя задача – вас троих обеспечить. Потому что Бере сыну пойдет, заранее предупреждаю.

Воцарилась долгая тишина. Но для мамы все это, по-моему, не было неожиданностью.

– Твоя вдовья доля составляла десять тысяч... Не знаю, сколько осталось из нее. У меня ты только на наряды тратилась, зато, правда, не скупясь. Я каждой дочери пятнадцать тысяч отделяю. Тысяч по восемь у детей твоих, считай, есть.

– Зачем вы мне это говорите? – возразила мама обидчиво. – Я и отдельно могла жить, не у вас.

– Пустые слова! Сама знаешь, что пустые. Тут я как-никак, но следила за тобой... Замуж, Клари, пора, вот тебе весь мой сказ.

– С этой-то оравой? – кивнула мама вызывающе и безнадежно.

– Ерунда! С твоей красотой... Мальчиков не будет дома, дальше пойдут учиться. Дочка... Она уже большая. Годик-другой еще...

– Да собой хороша ли будет?

– Яркой будет, экзотичной. Как раз и выправится сейчас. Четырнадцать минуло. Этой зимой на бал можешь вывезти. Недолго будет тебе обузой этот котенок, судя по всему.

Гроси встала и, заглянув к нам из-за альковной занавески, прошла бесшумно по комнате. Мы дышали ровно и глубоко.

– Спят! – промолвила она, задержавшись у моего изголовья. – Эта с завтрашнего дня наверху, в твоей комнате будет спать!..

Она постояла с минуту, и я даже сквозь опущенные веки почувствовала ее пристальный, испытующий взгляд. Потом она повернулась, тихонько взяла фонарь и, кивнув, ушла.

До сих пор, будто наяву, вижу ее статную, высокую, как тополь, осанистую фигуру. Это был цельный человек, справедливый и нелюбимый в любви, с волей непреклонной, но сдержанной, разумно осторожной: истинно монаршая натура. Один был у нее идеал: благополучие семьи, и ради него она готова была всю жизнь трудиться, добиваться, – спокойно, трезво и величаво, неизменно твердая в замыслах и поступках. Сколько раз я ее наблюдала в отношениях с друзьями и недругами, с клиентами, людьми нижестоящими или с нами, – никогда не меняла она своего слова, не отдумывала и не передумывала, не бросала, чтобы сызнова начать.

Мать еще посидела немножко, глядя в полутьму. Лицо ее было задумчиво, но покойно. Было очевидно: выслушанное не вызвало у нее никакого возмущенного или враждебного чувства. «Гроси права!» – с безмятежной, простодушной убежденностью подумала и я.

Вот какое естественное, исполненное безусловного доверия взаимопонимание царило тогда между нами: мамой, бабушкой и дочкой. Мы не то что лучше или безответнее были нынешнего поколения. Просто как-то одинаковой.

## 4

Давние мои лакированные туфельки на высоком каблуке, детская шляпка с лентами; первое девичье платье со шнуровкой и мантилькой – о господи! Где все это! Куда они только деваются, старые эти тряпки, свидетели нашего прежнего «я», былой суеты, бесследно канувших часов! Вот бы снова их сыскать, обрести, – пестрые клочки юности; музыку слов, цвет платьев и волос, тогдашний солнечный свет, его шаловливо ласкающие блики! И позабытые – да и неизвестные? – причины всего случившегося, что надежно схоронены там, во мглистой глубине тех растаявших или замурованных дней, крепко спящих в тайниках нашей души. Да, опять воскресить себя, ибо как-никак, а сама себе я всех на свете интересней; воскресить, когда уже блекнут цвета и серость заливают все вокруг... Ведь лишь то, чего уж и не вспоминаешь больше, теряется навсегда и безвозвратно.

В блестящих остроносых туфельках, в развевающейся мантилке и лентах, с бархатным ридикюльчиком на руке стремительной походкой пролетала я по улице Меде в школу кройки и шитья. И из-за полуприкрытых жалюзи меня уже украдкой провожали приметливые – порицающие, испытующие, недобрые или благосклонные – женские взоры. «Гляньте-ка, Магда, маленькая Портельки!» – перемигивались прищуренными оконцами кумушки и кумовья-домишки под негромкий полуденный благовест. Меня, значит, приняли в расчет, произвели в ранг тех, кем стоит заняться, о ком можно посудачить, порядить так и этак. И все выше со дня на день приподымались вослед мне зеленые шторы, и я чуяла, как обрыскивают, обшаривают меня с головы до пят эти взгляды, касаясь талии, забираясь в складки юбки, будто острожно выщупывающие усики-крючочки. Десятилетиями меряли вот так бег времени и самой жизни эти пары скрытых глаз из полутемных окошек, – примечая новые лица, прицениваясь, прикидывая возможность знакомства и связей. Тут, в нашем городе, от Хайдувароша до самого Варкерта, человеку пришлому или уже подростому делать было нечего, пока улица Меде не признала, не приняла его. Вот каков он был, маленький мой мирок, чьи особые приметы и законы я, может статься, ношу в душе и посейчас, хотя теперь-то знаю: ничей мир не больше. Он разве что другой.

– Ладная девчушка, ножки резвые, плясовитые! – подмигивало из-под чудного фигурного каменного карниза добродушное оконце «тант» Бельтеки. – Грудка материна у нее, только пополнить бы не мешало, – чтобы голубиной стала шейка эта цыплячья!

– Родинка портельковская под носиком, – размышляло окно мамы Ревницкой и косило, отсвечивало слегка, точно поводя плечом. – И роток великоват... Хотя есть в ней что-то... Цыганочка настоящая, только белолицая. Это глаза все, вот что глазки-то делают...

– Уже подводит небось – следит за собой! – вздернув лукаво острые бровки, возражал старинный, осевший угольный дом Илки Зиман и подмигивал сообщнически окошками, опасно-плутоватыми, как глазки самой хозяйки, поправляясь на ходу, чтоб хулу хвалой обернуть, коли, не дай бог, до слуха греси дойдет: – Ничего, кровь горячая, молодая... не водица в жилах небось.

Ибо все здесь боялись греси, боялись и почитали. А мы, домашние, сознательно и благодарно пользовались этим весом, авторитетом и всеми благами, которыми она – сама жизнь ее, ум, достоинство и достояние, ее осмотрительность – оделяли нас и охраняли. Очень скоро освоилась я в лабиринте житейских тонкостей, через которые мне самой предстояло пройти, по возможности благополучно. Была я крепкой, хорошей породы, не сентиментальной и привыкшей властвовать, и обладала всеми задатками для жизни активной и деятельной. Родственные связи, семейная и наследственная вражда или взаимообязывающая приязнь – все это, слышанное, узнаваемое с детства, входило чуть не в плоть мою и кровь, отзываясь даже в соразмерности приветствий, вежливости поклонов.

– Добрый день! – безукоризненно приветливо, но чуть официально, отрывисто здоровалась я, когда молодой Водичка описывал размахистый и торжественный круг своим котелком, но на его же глазах с доверительной улыбкой, легким приятельским кивком отвечала какому-нибудь «комитатскому юноше» на противоположной стороне.

«Добрый день!» – эхом отзывался у меня в ушах собственный голос, и я критически прислушивалась к себе: соблюла ли должную дистанцию, и тут же вспоминалась его, Водички, странная, полушутливая ласково-любезная и вместе насмешливо-фамильярная интонация: «Целую ручку!» «Нет, подумать только! – возмущалось мое уязвленное девчоночье самолюбие, и краска бросалась в лицо. – Этот проходимец!»

Он ведь был оттуда, из мира внешнего, соседнего, за пределами улицы Меде. За Варкертом, обширным графским парком, стояли вычурные, в новомодном стиле, с каменными башенками домики, где жили служащие из поместья: управляющий, надсмотрщик, приказчики и прочие. Чуждые все имена, невесть откуда взявшиеся люди, с неведомым прошлым. Об иных было только известно, из кого – егерей или истопников – вышел их прадед барской милостью. Сам отец этого Водички, старый служака-инженер, по рассказам, был у графов кем-то вроде мальчика, товарища для игр: его прилежание и барчуков понуждало учиться. С ними объехал он потом за границу и до сего дня благоразумно поддерживал полудружеские отношения. Для меня не было тайной, что в определенных кругах высоко ценят эту старую лису, сам комитатский инспектор старался ему потрафить и землемерных, водопольных и прочих работ, требующих ловкого крючкотворства, не проводил в имении без его хитроумной помощи. Вот и сын готовится пойти по отцовским стопам. Не успел адвокатский экзамен сдать – и сразу по приезду назначен графским делопроизводителем. И теперь расхаживает по улице Меде, кажет модный свой котелок, начищенные до блеска полуботинки да шелковый галстук. Это мне-то... Подумать только!

Мужчины нашего круга носили, наоборот, кожаные гамаши, галстук бабочкой и легкую мягкую шляпу, которую срывали быстрым, непринужденным движением с компанейской, приятельской радостью: «Магдуци! Дай ручку поцеловать!»

Породу свою, все черты и силы нашей крепкой, умевшей держаться, блестящей и уважаемой семьи я ощущала с гордостью в себе самой. С той разницей, что сознательно отдавала себе отчет во многом, до чего матери наши доходили наугад. Я разумею прежде всего науку женского обаяния. Стоя перед зеркалом, подолгу, бывало, наблюдаю за своим лицом, примечая с удивлением какую-нибудь новую черточку, непреднамеренную, но выразительную гримаску, изящный поворот головы и запоминая хорошенько, чтобы пустить потом в ход, – держать про запас как полезное оружие. Рядом мать цвела зрелой, яркой, бесхитростной, но непревзойденной красотой. Меня это, однако, не удручало. «Я по-своему буду хороша!» – думалось мне. По натуре была я живей, непоседливей, сложнее и неугомонней.словно древняя наша женская кровь выиграла во мне напоследок, побуждая жить, радоваться, но и смущая, грозя нежданнами изломами, перебоями. И, глядя на прихотливые очертания своего рта, нежных чутких ноздрей – это утонченное подобие суровых орлиных носов моих предков, на темное облако буйно выющихся, непокорных волос, я понимала: с такими глазами всего можно достичь. Знала: смотреть на меня не наскучит, ибо каждый миг я новая, иная, – двумя-тремя словами меня не описать.

Жизнь матери протекала на моих глазах, – я любила ее и гордилась ею. Было в ней какое-то великолепное небрежение: полная дерзкой силы, сторожимая завистью и чернимая исподтишка внутренняя свобода. Нам можно! Знаменитая Клара Зиман может себе позволить перед воскресной благовонной мессой<sup>8</sup> раскатывать в карете престарелого набоба Бойера, запряжен-

---

<sup>8</sup> Благовонная месса – так именовалось в Венгрии воскресное богослужение, потому что причислявшие себя к «хорошему» обществу дамы имели обыкновение являться на него сильно надушенными.

ной четверней, и платочком у всех на глазах слать из окошка шуточные приветы юным комитатским протоколистам в управе напротив. Прошлый год ей среди бела дня регулярно подносил от Сечи букеты дорогих пештских камелий его чудаковатый лакей-стихоплет; весь город глазел и судачил. А кончилось это подношение – ни тени уныния, лишь надменная, вызывающе-веселая бравада: еще бы, сколько кавалеров, выбирай любого взамен. «Никогда не валило в дом столько женихов, даже когда ты на выданье была!» – говаривала гриси озабоченно, но без упрека. Тогда как раз воротился из заграничных университетов молодой Телекди. Этот юный фантазер к нам особенно зачастил. Однажды летним солнечным утром, по пути с какого-то увеселения ввалился он к нам во двор с Банко и его оркестром в полном составе, выстроил цыган у садовой кухни: «А ну, в смычки, валяй самую распрекрасную; она ли не заслужила, красавица белорукая, как мучицу-то забалтывает, любо-дорого смотреть!» Вижу все это, как сейчас. Алые и желтые розы только распустились, жаркое солнце разноцветными бликами полыхает, отражаясь в стеклянных шарах вокруг большой клумбы; в загородке у садовой калитки верещат голодные поросята, и вместе с пряным ароматом спелой малины теплые, душные испарения от навозной кучи струятся в дрожащем от зноя воздухе. Цыгане ударили в смычки за кустами бирючины, а Телекди, опершись плечом о притолоку и обратив к кухне свое приятное, хмельное, чуть опухшее лицо, не сводит жадных глаз с матери, которая, раскрасневшись, сверкая обнаженными до локтей руками, отшучиваясь и хохоча, снует взад-вперед, печет соленые пышечки. «Сегодня же это повсюду разнесется! – с затаенным восторгом думала я. – Вся улица Меде обратит на нас взоры. Но в том-то и шик: нам все можно! Цвести, красоваться горделиво, принимать знаки обожания, юно, щедро отдаваться прихотям, танцу жизни, всяческой красоте. Любить красиво!»

Ибо знала я многих людей из разных мест, но нигде, по-моему, на белом свете не умели с таким вдохновенным артистизмом, так бурно, так скорбно и шеголевато жить любовью, как некогда у нас. С той поры люди больше стали знать, преуспели во многих науках, но в этой огрубели. Сквозь вежливые околичности тотчас проглянет несложное, низменно бестактное желание. Нет былой возвышенной театральности; она выродилась в неуклюжую позерскую декламацию: в некрасивое, недостойное кошачье ломание с одной стороны и нагловатое, неумело и фальшиво замаскированное презрение к женщине – с другой. Вымерла, исчезла целая тонкая и своеобразная культура; скажем современнее: искусство обращения с женщиной, которому нынешнее поколение просто не успевает научиться! И позабыто, сколь несравнима прелесть, вся горестная и гордо-бесшабашная удасть любовной игры с той ее целью, которая сама по себе так разочаровывающе заурядна.

Нет, нигде одно краткое, но со значением вырвавшееся слово не несло столько отблесков и отголосков, пламенеющих оттенков скрытого чувства, нигде горе не облекалось в столь надменно прекрасные одежды и нигде саму жизнь не были готовы отдать за минутное торжество, как в том нашем древнем заболоченном, заросшем нетоптанной осокой краю. Видела я случайно в сумерках лицо моей матери, – гордое удовлетворение, тронувшее ее губы, когда она демонстративно просунула свою руку под руку молодого Телекди, возвращаясь с прогулки или какого-то ужина. Ведь Сечи уже много месяцев не переступал нашего порога, а тут вдруг опять решил маму проводить! «Да, – вспыхнуло что-то и во мне, – одно такое мгновенье многое может возместить!»

– Мужчины, они ведь возвращаются, – заметила тогда гриси. – Посмотреть, как, мол, там: не дает покоя мысль, что и женщина их может позабыть. Но не дай бог сызнова с ними начать: из этого еще ничего путного не выходило!

Она понимала толк в таких вещах и все перебирала в своей умудренной летами голове эти странные комедии жизни, в которых – чуть ли не главный ее смысл и ключ к ней. Но и решительно все занимались делами влюбленных. Ведь любовное действие разыгрывалось среди бела дня, у всех на виду; чувства сразу становились достоянием гласности, молвы, и даже в

осуждении слышалось участие, а в участии – симпатия и уважение, будто происходило все это на сцене и капельку даже ради зрителей. Было в этом нечто деревенское. Да и сама господская, «барская» речь поныне там очень близка крестьянской, разве еще покудрявей, поцветистей. Мне до сих пор стоит труда по-книжному нанизывать свои слова, хотя, говорят, и литературный наш язык произрос из тех мест. Скольких парней-красавцев видала я там по деревням, удалых молодцов с огненным взором и дерзкой, уверенной повадкой: кажется, приодень только – и вылитый молодой исправник перед тобой. Знаю, что и песен больше всего складывалось в тех краях, и ни одна местность в Венгрии не давала во все времена столько гусяров и дударей, столько стихотворцев, литераторов и разных знаменитых людей, сколько наш комитат<sup>9</sup>. Об этом я даже читала где-то. И сейчас частенько посматриваю на каменную фигуру одноглазого поэта с поникшей головой и печальной думой на высоком челе<sup>10</sup>, – уже несколько лет, как появилась она на углу базарной площади за решетчатой оградой, под сенью густых акаций. И он тоже отсюда, кровный, близкий наш родич.

Но как же я отвлеклась: вот что значит старость... Правда (приходит тут же на ум), я и в давнишние, девические годы любила отдаться мыслям, грезам, как в эту тихую осеннюю пору, на склоне дней. Только тогда, как нынче о прошедшем, грезил я о будущем, – тоже, быть может, невольно расцветивая его надеждой и фантазией. А между тем далеким прошлым и теперешним настоящим я всегда была в самой стремнине, некогда и оглядеться, знай только поворачивайся, одолевай препятствия, борясь с мутной, бурлящей стихией, лишь изредка выскакивая на спокойное место и покачиваясь на солнышке в уютной лодчонке недолгого благополучия. Но задумываться всерьез, жить подлинной внутренней жизнью уже не приходилось.

Я и позже, освободившись, нет-нет да и сбегала вниз, в старую нашу детскую, в царство источенных червем толстых балок, столетних кресел, пастелей на стенках и звездчатых котильонных бантиков. Как необычно тихо временами становилось здесь! Мальчиков, напоив кофе, я с безапелляционным добродушием спрашивала в гимназию. Обоих я вдруг заметно переросла. «У, змея!» – шипел по привычке Чаба мне вдогонку, но перед одноклассниками хвастал: сестра, мол, у меня такая большая, что преподаватели-пиаристы, идя с мессы, первые раскланиваются с ней. И в фортепьянном «тайнике» я их больше не тревожила, иной раз даже принесу им по настоящей сигаре, стянув у гостей со стола. «На, шалопай!» – скажу и шлепну в знак примирения Чабу по спине. А Шандорку попрошу не убирать, уходя, учебники, мне оставить.

Ни с чем не сравнимым наслаждением было для любознательного и набиравшего сил девичьего ума заглянуть в них иногда вместо вытиранья пыли. Загадочные фигуры, невиданные чертежи с незнакомыми буквенными обозначениями... И я погружалась в догадки: были, значит, да и сейчас наверняка есть где-то люди, которые посвящают жизнь вот этому, изобретают такие штуки. Какие далекие, неведомые цели, судьбы таит этот необъятный мир, о которых мы здесь и не услышим никогда!.. Потом я наткнулась на латинские тексты с переводом и разрешила страницы, которые не успели измарать карандашами, захватать грязными пальцами гимназисты. Стихами повествовалось там о древних мореплавателях, непрестанных битвах, о разрушении и основании городов. «Будь я мальчиком, далеко-далеко уехала бы отсюда!..» – мелькнуло в голове. Эта мысль, мечта о безбрежных просторах была как сказочный сон, безмерно далекий от всего окружающего. У нас, посреди всяческого изобилия, в мире возов с пшеницей и полных бидонов, рядами подвешенных свиных боков и откармливаемых гусей, именинных и прочих званных угощений, какое-либо путешествие без крайней нужды почиталось причудой самой невероятной, безумным мотовством. Да едва ли кому и в голову полезла

<sup>9</sup> Действие разворачивается в Сатмарском комитате, на родине многих известных венгерских писателей.

<sup>10</sup> Имеется в виду Ференц Кельчеи (1790–1838), венгерский поэт-романтик, автор патриотических элегий.

бы этакая блажь. Как судили, осуждали по всему комитату злого старикана Телекди за то, что, овдовев, заслал в чужие края единственного сына под предлогом обученья. Знал, небось, от чьих грешков подальше! «Честный человек и дома в чести!» – говаривал Абриш Портельки, дядя мой с отцовской стороны, который сроду, то есть вот уже шестьдесят лет, ни разу не переступил границы комитата. Да и деревеньку свою в забытом богом заболотье, древний Портелек, покидал разве что ради большого семейного праздника или по случаю комитатского собрания, а на поезде, по слухам, и не ездил никогда.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.